

Глеб Иванович Успенский

Тише воды, ниже травы



Глеб Иванович Успенский
Тише воды, ниже травы
Серия «Разоренье», книга 2

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664935

Аннотация

Материалом для повести «Тише воды, ниже травы» послужили факты из земских и судебных дел, собранные Успенским в 1867 году в Крапивне и Липецке, а также почерпнутые из опыта учительской работы самого писателя (в г. Епифани Тульской губернии в 1867 году), его жены А. В. Успенской и его сестры Е. И. Успенской. Не случайно повесть вызвала возмущение местных обывателей, узнавших себя в ее персонажах. Успенский писал об этом жене 20 июня 1870 года из г. Крапивны: «Моя повесть «Тише воды» наделала здесь дел, – все перессорились и переругались, и я боюсь, как бы в самом деле не сорвали зла на сестре и матушке».

Содержание

1	4
2	7
3	13
4	19
5	26
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Глеб Иванович Успенский

Тише воды, ниже травы¹

(Дневник)

1

*Уездный город*** Август 186* г.*

«Случилось то, что рано или поздно, но непременно должно было случиться: третьего дня я прибыл в уездный город*** и очутился *«на руках»*² (вот что особенно горько!), на руках старушки-матери. Мало она меня носила на этих несчастливых руках!

Тихо шел я по пустынным улицам уездного города, слушал давно забытый звон к вечерне и думал, что теперь волны русской жизни плотно и надолго прибили меня к берегу. Потому надолго, что я устал, что мои ноги гудут и ноют, что мне хочется лечь спать. Потому надолго, что больные кости приобретены мною в продолжительном и бесполезном томлении о своем и окружавшем меня ничтожестве вообще и в непрерывном содрогании пред могуществом плети и обуха.

² ...очутился «на руках»... – Одной из мер репрессии, применявшейся царским правительством по отношению к лицам, участвовавшим в освободительном движении, была высылка на родину под надзор (на поруки) родителей.

Я двадцать раз думал, что это «не так», теперь, кажется, уже не думаю. Теперь мне спать хочется и сил нет. Зерно апатии спеет в душе.

Помню, во время дороги сюда случилось нам остановиться близ новой строящейся железной дороги. У одного из деревянных барачков я заметил целую толпу мужиков, которые валялись ничком, разбросав руки и ноги как попало. С первого взгляда их можно было принять за мертвецки пьяных; но оказалось, что они скорее напоминают рыбу, выброшенную на берег, обессиленную и изнывающую на солнце.

– Что с вами, ребята? – спросил я их.

– Ослабши!.. – еле проговорил один из них, старик, с великим трудом поднимаясь на локте и стараясь согнуть колено... – Дюже аслабши! Кровь пушали...

Старик повалился на спину, не удержась на локте, и я долго ждал, покуда он снова придет в себя.

– Должно быть, много очень крови вам выпустили?..

– Да, надо быть, что перепустил... передал...

– Как же это так? Доктор-то есть у вас?

– Ох, да есть он... О-о-о... Да свой у нас доктор-то, неученый... простой... У яво положенная препорция насчет эфтого... кровопролития... примерно... Есть стакан у него в гривенник... и есть у него в двугривенный стакан... О-о-оохх... Ну-ну... хочешь ежели ты фунт крови твоей отлить – ну, гривенишный стакан нальет... А ежели ты два фунта пожелал... О-ох... Осслабши... Перпустил...

Что же? – прежде, бывало, я бы уж непременно вмешался в это дело, а если бы и не вмешался прямо, то уж во всяком случае настроил бы хоть корреспонденцию, теперь же я только сказал мужикам: «Эх-ма, как же это вы так?..», спросил: «легче ли?» и, получив ответ: «надо быть, легче», надел шапку и уехал...

2

«Но самое действительное средство, приковывающее меня к обезличению, это матушка и сестра. Я почти позабыл об их существовании; знаю, что несколько раз в течение десяти лет разлуки с ними я посылал им по нескольку рублей, но вообще что-то очень немного. Денег у меня было мало; а когда и случались, то большей частью тотчас же уходили на какое-нибудь такое дело (множество было их тогда), которое казалось мне и выше и нужнее потребностей матушки. Часто приходилось мне забывать ее нужды. Положим, что и свои я тоже не имел времени помнить, но теперь я мучусь этим. Какие результаты этих забвений?.. Результаты те, что я каждым шагом, каждым неосторожным движением моим могу разрушить все благосостояние матушки и сестры, доставшееся им собственными невыносимыми трудами, путем каких-то протекций и просьб, – благосостояние, которое хуже каторги, которое они, однако, считают счастьем и взамен которого я им ничего даже обещать не могу.

Когда я явился к ним, радости не было границ; целуя меня и раздувая самовар, смеясь и плача, они рассказали мне, что живут отлично, что квартира у них казенная, что сестра – начальница женского училища и получает десять рублей, а мать – помощница и получает семь, что все «слава богу!»

– И как, я тебе скажу, Вася, купечество нас полюбило, –

говорила мать: – так это просто необыкновенно!.. Пирог ли, именины ли, всё – нас, всё – нас!.. И Надю как любят – не нахвалятся!..

– Да, да! – подтвердила сестра: – мне даже уж скучно от этих приглашений... Я не знаю, за что они меня полюбили.

– Как за что? Господи боже мой! Вон и Семен Андреич говорит: «как, говорит, не полюбить». Господи боже мой!.. Ты погляди-ко на нашу школу, какой порядок, так это на редкость... Да опять – всем им угодить нужно... Легко это?..

В ответ на все это я, разумеется, мог только поддакивать, потому что знал, какая начинается чушь за пределами этого «угодить». Все были по этому случаю веселы; имя какого-то Семена Андреича звучало очень часто в рассказах сестры и матери. На флегматическом и бледненьком лице моей сестры часто мелькала какая-то недоумевающая тень, которая, впрочем, почти мгновенно исчезала, когда мать говорила: «Семен Андреич не соврет уж, стало быть...» Сестра тотчас же припоминала подлинные слова Семена Андреича и делалась веселее. «Правда, Вася?» – обращалась она ко мне. Я подтверждал. Я все теперь подтверждал!

Из разговоров их я понял, что Семен Андреич – практическая уездная штука; что все его любят; что у него есть про запас деньжонки, несмотря на то, что он уездный учитель; что одевается он хорошо, никогда не пьян и избран старшиной в клубе. Купить что нужно – купит дешево; все знает и что понадобится – сделает. «Пять рублей мы у него раз за-

нимали – с удовольствием дал. Как получили, отдали...»

Словом, мать находила, что он отличный человек; сестра говорила: «да, он здесь первый...» А когда этот хороший человек пришел вечерком к нам, то матушка тотчас засуетилась и отозвала меня в другую комнату.

– Ты извини, голубчик! – сказала она топотом: – ты при нем не скажи чего-нибудь про учителей.

– Нет, нет...

– Извини, милый мой! А то, пожалуй, кто его знает? – разозлится еще!

– Нет, нет, будьте покойны.

– Прости!..

Семен Андреич – фигура уютная, плотная, впрочем весьма умеренная, покойная; не стар и не молод: выпить может пять бутылок – и пьян не будет; выступает не спеша; одет прилично, а главное – дешево. Впоследствии я узнал, что он очень любит это слово; в этот же вечер он взял себя за рукав и, глядя на сукно, рассказал целую историю, потом сосчитал все копейки, подвел итог всему, что и во что обошлось, и засмеялся. И действительно, вышло ужасно дешево.

– А я, – сказал он, не спеша и усаживаясь на стул, – шел, признаться... (Тут он стал доставать платок и не нашел.) Куда же это я его сунул? в шапке? (Происходит отыскивание шапки, но платка нет.) Нет, в шапке нет... Не в пальто ли?

– Вы поглядите в пальто, – говорит мать и со свечкой уходит вместе с учителем в кухню.

Происходят поиски; платок отыскивают. Семен Андреич садится на прежний стул, расправляет платок и говорит:

– А я, признаться, шел... (тут он обходится посредством платка, наконец запихивает его в задний карман и оканчивает) дай, думаю, зайду...

– Вот и чудесно! Прямо к чаю! – сказала матушка.

Семен Андреич засмеялся, поправил борты сюртука и покосился, впрочем без злобы, на меня.

Я подался в угол. Разговоры его продолжались с тою же неторопливою манерою; но, несмотря на мое молчаливое присутствие в углу, он как будто стеснялся меня, как незнакомого человека, у которого неизвестно, что на уме.

– Вася! – отозвала меня матушка: – ты поговори с ним поаккуратней! Извини, голубчик! Как бы не подумал: приехал, мол, из Петербурга критиковать.

– Да я с удовольствием...

– Пожалуйста! Так что-нибудь... Поласковой! Он у попечительницы бывает... как бы что-нибудь...

– Не беспокойтесь, не тревожьтесь! – сказал я.

Я собрался с духом и стал что-то говорить, даже смеяться. Должно быть, я угодил этому борову, потому что он ободрился и из круга уездных интересов мало-помалу стал довольно самоуверенно вламываться в области, ему, повидимому, весьма слабо известные.

– Скажите, пожалуйста, – говорил он, с лукавой улыбкой поглядывая на мать и сестру: – что, ежели, например, напи-

сать статейку?

– Что же? – мог я только сказать: – отлично!

– Гм... Право? Как вы думаете?

– Превосходно! – сказал я. – Что же?

– Ничего?.. Гм! А тут, я вам скажу, много можно, ежели захотеть... Так, хоть постращать... Тут – и-и-и можно сколько! Я давно собирался, да все думаю... чорт с вами! А, ей-богу, как-нибудь надо... Например, ежели описать, как у меня шапку в клубе украли... А? как вы думаете?.. Ведь это что же? ежели хоть так, для примера я возьму, – ведь все-таки же два с полтиной, как бы то ни было... А подите-ка у нас, разыщите!

Я решительно не знал, что говорить; однако говорил.

– Ведь пишет же этот, как его... Белинский, что ли, в «Сыне отечества»³!..

– Едва ли Белинский... – начал я совершенно невольно.

– Вася! – быстро окликнула меня мать и увлекла в другую комнату. – Не спорь! Не спорь с ним!

Я замолк.

Хороший человек ободрился, выпил бутылку водки, но пьян не был. По его приглашению и из боязни, чтобы не разлился, и я пил, сколько мог. В конце концов речь перешла на взаимную любовь; матушку мою хороший человек любил, как родную, а относительно сестры сказал с особенной вы-

³ «Сын отечества» – исторический, политический и литературный журнал консервативного направления, издавался в Петербурге с 1812 по 1852 год.

разительностью:

– Мы вот как дружны – дай бог всякому!.. Потому что мы оба профессора с ними, хе-хе-хе! Тоже пользу приносим, хе-хе-хе!

– Что вы смеетесь? – сказала сестра: – разумеется, пользу! Правда, Вася?

– Разумеется!

Сестра сказала это с полным убеждением, так что Семен Андреич устроил у себя серьезное лицо и произнес, как-то потупясь и расставляя руки:

– Да, само собой... Господи боже мой! Да кабы не пользу, так кто же бы стал бы! Господи боже мой, само собой!..

Порядок был восстановлен, и снова пошли изливания. Теперь уже матушка заявляла, что любит его, как родного, и сестра тоже что-то было хотела сказать, но покраснела. В заключение и меня попросили любить его, как родного.

Я на все был согласен, и счастливый вечер продолжился в том же порядке довольно долго.

– Васенька! – сказала мне матушка по уходе гостя: – будешь ложиться, так поставь сапоги под кровать, а не в кухню... а то, пожалуй, кто-нибудь... подумает...

Я готов был проглотить мои сапоги, лишь бы никто ничего худого не подумал про сестру до тех пор, пока доподлинно не узнают, что сапоги принадлежат «родному брату»...

3

«...И при всех таких путях как, однако же, трудно удержать в душе эту совершенно обстоятельно доказанную потребность молчания. В Петербурге возможно достигнуть этого с гораздо большим успехом; среди ярких контрастов, составляющих столичную жизнь, может и разгореться до пламени и совершенно угаснуть несчастная болезнь – любовь к ближнему. Но здесь, среди народа, она только разгорается... Даже степи, еще только начинающиеся у истоков Дона, по временам сильно допекали меня. И кажется, чему бы тут донимать? Горизонт, не представляющий взору ничего, кроме длинной туманной нити земли и неба; упорный ветер, неумоимо несущийся навстречу одинокому нищему пешеходу, терзающий одинокую ветлу, бьющий о задок кибитки ровно, мерно, скучно... Что тут? А ведь с ума сойдешь! Ни лесочка, ни жилища на протяжении двадцати верст... Вот обогнала нас, словно обезумев от кнута, маленькая тощая лошаденка, запряженная в громадную телегу; в телеге помещается пять мужиков, и шестой – солдат – свесил ноги с задка... Все это пьяно, весело, все это орет, шатается, горланит, хлещет клячу и, повидимому, совершенно забывает о том, что сию минуту какой-то проходимец, благодаря щедрому угощению которого они и пьяны, отхватил у них нужные ихним семьям луга лет на пять вперед, положив таким образом на-

чало будущему разоренью. Хорошо, что с этой пьяной телеги соскочило колесо и вся компания рассыпалась в разные стороны – по крайней мере ее можно обогнать и не видеть этих горьких людей, ворочающихся в грязи, со спутанными на лице волосами, не видеть этой почти истерически дрожащей лошадки.

И опять рогожа бьет в задок, и ветер гудит навстречу.

Подходит вечер; темно; мысль утомлена. Но вот, наконец, замелькали огоньки; среди пустыни вырастает громадное степное село; на темном небе чернеет несколько колоколен; у въезда, в кузне шумят мехи, летят искры. Пошла широкая улица, обставленная каменными домами; соломенные крыши неприметны в темноте; попадаются постоянные дворы и дома двухэтажные с резными крыльцами, поднимающимися с улицы прямо в середину второго этажа. Вот трактир с фонарями и сияющими окнами, в которых виднеются люди. Слава богу, жилое место!

Но что же значит, что, завидев нашу кибитку с высоких резных крылец и отворотных лавочек, начинают бежать за нами толпы людей, и вся улица оглашается криками: «Раабооота!.. Эй, сдай проезжего!.. Эй! отдай!..» Что значит, что ямщик наш начинает гнать лошадей во всю мочь, махая над кибиткой и над тройкой концами вожжей и крича: «У нас свои есть, кому сдать! Своему сдадим!..»

Он не замечает, что мы избиты толчками, задушены поклажей и сеном, выбивающимся со дна телеги; он вырывает

«работу» из жадных до нее рук своих собратий и тащит нас в какие-то низенькие ворота, которые захлопываются тотчас же, как только мы вкатываем под темный навес крестьянского двора.

– Какому разбойнику сдаешь? – слышно с улицы: – Барин! барин! он вас убьет...

Но этот ропот толпы заглушается горделивыми возгласами ямщика, который, похаживая по двору с кнутом в руке и в расстегнутом полушубке, вопиет:

– Эй, получи работу!.. Тетери сонные! Где вы тут?

В голосе его слышно торжество. И это торжество начинается. Из всех углов, где в темноте пищат больные дети, вылезает множество разных нужд... Никто не спрашивает: кто мы, куда, зачем? – все внимание сосредоточено на трех рублях, врученных моими спутниками в задаток. Является множество людей, предъявляющих самые основательные права на долю в них. Старушка подползла к телеге и требует полтину. Человек в белой рубахе и жена его и еще два человека в белых рубахах с женами требуют тоже по полтине. Вылезает древний старик. Кряхтя и ошупью хватаясь за столбы навеса, пробирается он к телеге, долгое время молча трясет дряхлой головой, причем слышна хрипота в груди, и шепчет: «Родителю... старичку... колько-нибудь... хучь колько вашей милости...»

В толпе раздается: «Братцы!.. Боже мой!..» – «Ловки вы! завтра, небось, базар!..» – «Ах, боже мой!..» – «Я лошадь

даю! Поди к соседу – даст ли?» – «И пойду». – «И пойдись!..»

Пока пьют магарыч, пока запрягают лошадей, длинные сухие остовы которых выступают на середину двора медленно, уныло, с клочком недожеванной соломы во рту, – пока все это происходит, мы успеваем узнать, что во дворе у хозяина не чисто, что в два года у него пало три тройки, что ребенок болен, «пучит», что нужна растирка; а растирки настоящей нету. Развивается нестерпимая жажда уйти отсюда.

На дворе уже черная степная ночь. Моросит дождик. Тьма ночи, сливаясь с черною, как смоль, степною грязью, образует что-то до того непроницаемое, что глазам становится больно. Лошади идут шаг за шагом. Помню, пришлось нам ночевать в кабаке среди поля. В кабаке, прилепившемся около мельницы, было грязно, неудобно; ни лампадки, ни ветки за образом, ни картинки на стене, словом – ничего, на чем бы мог остановиться глаз; голые стены, запах сивухи, стол, лавка и громадные дыры в полу – «от плясу», как объяснил целовальник. До глубокой ночи я не мог сомкнуть глаз: дождь стучал, и ветер ломил в гнилую раму; воображение, разыгравшееся на тему об этих пляшущих людях, до того измучило меня, что я не знал, как дождаться белого света, дня.

Утро было прелестное. Против кабака на мельнице уже стучали поставы, и из амбаров неслась белая пыль, и шумели, как шелк, крылья множества прилетавших к амбарам и улетающих голубей. Солнце ярко и тепло пригревало сырую землю; вода шумно неслась с плотины и шумела внизу. Дер-

жась в стороне от водопада, дрожала лодка; два мужика в мокрых штанах и рубахах доставали из воды верши и вытряхивали на дно лодки мелкую сверкавшую рыбу. Все это более или менее выбивало из моей головы ночную муку.

Я пошел было на мельницу, но в воротах амбара наткнулся на мужика, который рылся где-то у себя в сапоге и нищенским голосом говорил надсмотрщику:

– Э-эх, бра-ат!.. А я думал – копеечку мне пожертвуешь на калачик?..

– Нечего, нечего! – говорил надсмотрщик, смотря мужику на сапог и позвякивая деньгами в горсти.

– Андреян!.. Э-э-эх, брат!..

Я сейчас же ушел отсюда и наткнулся на сцену, которая спасла мне утренний отдых. На крыльце флигеля, выстроенного против мельницы, сидел, повидимому, главный приказчик. Засунув одну руку в карман бешмета, он другой рукой щекотал брюхо паршивому маленькому щенку, который валялся у его ног.

– Э, злая bestия! – бормотал он. – Э! Уж и продувная только шельма уродилась... И как тебя, шельму, окликнуть? а?.. Ишь, ишь, зубастая тварь... О-о-о! Нечего, нечего! – подняв на минуту свое веселое лицо, крикнул он по тому направлению, где надсмотрщик стоял «над мужиком», выматывая из него деньги, и снова сосредоточился над щенком, который уже отбежал от него и, сидя на земле, беззаботно трепал свое ухо лапой...

– Скажите на милость, – отнесся приказчик ко мне, как к старому знакомому: – что за чудо! Все думаю, как мне его назвать, ну не нахожу слов – и шабаш!..

– Как-нибудь, – сказал я. – Подумайте.

– Уж думали-с; уж очень хорошо обдумывали... Теперича, ежели бы он шерстью к серому – ну «Волчок»... Или бы толст был – ну «Шарик»... А то, шут его разберет, не то он дохлый, не то он... пес его знает!.. Развел блох – да и горя мало. И разбирай его фамилию... Нечего, нечего! – снова взволновавшись донесшимися с мельницы «э-эх, ма!», прогремел приказчик и потом тихим заботливым голосом принялся исчислять все придуманные им клички. Одна из них была до того уморительна, что, сказав ее шопотом, приказчик покотился со смеху. По крайней мере лет двадцать мне не приходилось ни слышать, ни самому смеяться таким смехом. Я стоял над ним, как под освежительной душой, и думал: «Как бы хорошо было мне теперь это мирозерцание!..»

4

«...Как бы годилось мне это мирозерцание, в виду тех бесконечных «эх-ма», которые постоянно вылезают на свет божий из недр обыденной жизни.

На другой день моего приезда сестра повела меня в класс. Признаться, я высказал было намерение не пойти, ибо пора мне знать науку, которою «все довольны»; но просьба сестры была так убедительна, она так страстно хотела моего одобрения, что я должен был идти. Семен Андреич был с нами.

В классах была образцовая чистота и порядок; доска была только что вытерта мокрой губкой и блестела; на стенах висели картинки из священной истории: «Потоп», «Каин убивает Авеля» и проч. На передней скамейке сидели купеческие дочери в люстриновых платьях, подальше помещались одетые похуже.

– Так лучше, – объяснила мне сестра. – Нехорошо, если кто-нибудь войдет и прямо увидит оборванных... а знают они почти одинаково... Вот посмотри, какие у всех тетрадки... Кузьмина! подите сюда.

С задней лавки вышла деревенская девочка босиком; тетрадка ее оказалась прекрасная; с большим старанием были изображены в ней описания осени, зимы, масленицы.

– Как же это ты, – сказала сестра, – пачкаешь тетрадь? Это не годится... Придет попечительница, посмотрит...

Девочка потупилась и вертела в худеньких пальцах кончик платка, которым была повязана ее голова. Семен Андреич ласково дотронулся пальцем до ее подбородка и, поднимая ее потупленное лицо, говорил:

– А ты не жмурься, отвечай!

Пересмотрели еще несколько тетрадей, и во всех было «хорошо». Потом сестра вызвала несколько девочек к доске, заставила написать несколько строк из стихотворения: «Зима... Крестьянин, торжествуя» – и сделать разбор. Девочки взапуски принялись отыскивать предложения, дополнения, подлежащие; они видимо старались угодить сестре: краснели, комкали мел, тревожно оглядывались, если была ошибка, и громко выкрикивали все хором, порываясь от доски к сестре, если были убеждены, что скажут верно.

– Видишь? – шептала сестра. – Директору очень-очень понравилось.

Показав мне познания девочек, она, наконец, сама стала задавать им урок; и действительно, сестра не жалела груди и сил, толкуя девочкам известное стихотворение «Птичка». Громадных трудов стоило ей разъяснить ученицам стих: «В сиянье голубого дня». Ей нужно было сказать: что такое «голубой», что такое «голубой день». Растолковав это, нужно было объяснить, что, собственно, голубых дней не бывает, что тут необходимо понимать небо, но нельзя также думать, чтобы это было только небо, а что тут примешано и солнце, и свет, и много еще других вещей, которые все вместе состав-

ляют то, что поэт разумел под названием «голубого дня». Откашлявшись, сестра задала это стихотворение списать в чистые тетради, – и урок кончился.

Сестра была утомлена; все, что она считала нужным сказать, она говорила не кое-как.

– Устали? – спросил ее Семен Андреич, когда мы уходили.

– Устала.

– Да, уж признаться сказать, не даром деньги берем! Это уж нечего... Ведь это только не зная кричат: «мало! мало!» А поди-ко, вдолби им в голову-то... жизнь проклянешь! Вы знаете, что я вам скажу? – обратился он ко мне. – У нас какие есть мастера: ты ему твердишь, надседаешься – «подлежащее, подлежащее», а он тебя ж надует в лавке! Н-нет, батюшка, это хорошо разговаривать... Поди-ко, поворочай... Я, ей-богу, удивляюсь Надежде Андреевне, как она еще справляются: ведь почти одне...

– Да, – сказала мать, встретившая нас в сенях и услышавшая конец разговора: – это правда... Ермаков так часто манкирует... постоянно!

– Что! пьяница, прощельга – уж извините, я прямо! – снисходительным пренебрежением проговорил Семен Андреич. – Когда-нибудь дождется, турнут, вот и сказ... Я даже так думаю, не он ли у меня шапку-то... в клубе?

Семен Андреич мигнул.

– Ей-богу! Пожалуй, выпил лишнее, да и... Ему все равно.

– Ну что вы... уж! – заступилась матушка.

– Да я и не говорю, а что может быть... Бог с ним! Свинья – больше ничего... Обидно, что других заставляет работать из-за своего пьянства.

Все эти сочувственные слова сестра принимала молчаливо, и хотя видно было, что она не считает их лестью, однако я заметил, что она ждет моего мнения. Признаюсь, мне было не легко пристать к общему хору хвалений. Но, подумав, я нашел, что если точное исполнение этой программы ведет к тому, что сестре дают комнату и свечку, то, стало быть, не согласиться с этим – значит поставить сестру на ту дорогу, где не будет ни комнат, ни свечей и где, в конце концов, она может услышать: «нет проезда!» Припомнил я также кое-что и из своей жизни по этому вопросу, из своих путешествий по пути несогласий; вспомнил, что и я тоже был учителем и пробовал смотреть на школу и науку как на вещи, объясняющие вообще «человека». Но, кроме того, что мои бока были помяты лишний раз, не думаю, чтобы были какие-нибудь другие результаты для школы и для меня. Пытливые взоры сестры, которая поминутно взглядывала на меня во время обеда, правда, мешали мне хорошенько подумать надо всем этим, но тем не менее, когда, наконец, она задала мне роковой вопрос: «Ну, как ты, Вася?.. Хорошо ли?» – в воображении моем накопилось столько утвердительных доводов, что я должен был сказать: «Хорошо!»

– Только ты, в самом деле, не очень мучай себя... У тебя грудь слаба... – осмелился я пикнуть. Но когда сестра обра-

довалась, то, право, мне кажется, я едва не сгорел от стыда.

Гулял я как-то по улице и натолкнулся на следующую сцену. Около полицейского управления стояла телега; на дне ее лежала человеческая фигура, с ног до головы закрытая полушубком; на тротуаре стояла баба с кнутом в руках и, обращаясь к полушубку, говорила:

– Ма-ашенник этакой!.. Злодей!.. Вот погоди, прощельная душа!

Человек, лежавший под полушубком, не шевелился. Я подошел к бабе и спросил: в чем дело?

– Да вот, батюшка, вора привезла! Пушай его запрут в казамат, шельму этакую, бродягу! Двух лошадей свел, нечистая сила. Хорошо, углядели во-время – догнали, а не угляди мы?.. Этакая паскуда! Все ты увертывался, ну уж теперя покаешься. Уж теперя...

– Авось бог милостив! – вдруг послышался голос из-под полушубка.

– Ах ты, нечистая душа! – гневно возразила баба. – Что же это, всякому вору да... А-ах ты!

– Нич-чево!.. Авось!.. Ты думаешь, бог-то для вас только?.. Нет, очнись! Ты думаешь, вора привезла – и всё тут?.. Нет, погоди маленько! У н-нас тоже против вас штука есть!..

Баба жестоко негодовала. Но тон человека под полушубком сделался от этого в высшей степени самоуверенным.

– Нет, шельма, погоди! – гремело под полушубком. – Так

бы я тебе, шельма, и дался, кабы у меня эфтого не было. Так бы я тебе и лег в телегу-то? – как же, сделай одолжение! Нашла дурака! Кабы эфтой штучки у меня против вас, чертей, не было, нашла бы ты меня... держи!

Эта «штучка» до того заинтересовала меня и бабу, что последняя во все горло потребовала, чтобы он разъяснил эту штучку.

– Кажи, шкура свиная, что у тебя есть? Чем ты можешь нам во вред?.. Кажи!

Человек, лежавший в телеге, вдруг откинул полушубок и проворно сел в телеге, показывая нам почти голую спину.

– А это что, живодерная шельма? – зарычал он, стиснув зубы, и стал тыкать себя в затылок пальцем. – Что это-о?

Мы с бабой увидели, что затылок был у него разбит и волоса запеклись в крови.

– Что? что? что, гн-нусава? – ревел человек, повернувшись к нам лицом и держась обеими руками за край телеги. – Ай присела? Нет, еще за эту штучку-то тебя, шельму, надо расстрелять!.. Аннафему!

Баба злилась, но молчала и видимо оторопела.

– Ты ловить вора – лови, а оглоблей его громыхать в это место – не показано! – продолжал мужик. – Что в законе сказано?.. Шельма! Так бы я вам, чертям, и дался, ежели б вы мне не повредили! Ду-ура! Ведь и мы с умом! Я тебе, дуре, нарочно затылок-то подставил!.. Кобыла-а! Потому нам за это снисхождают! Съешь вот!..

Сказав это, мужик снова юркнул под полушубок, снова закутался с головой и, в то время как баба не знала, что отвечать, весело говорил оттуда:

– Х-ха!.. А то дурака нашли! Нет, брат, эта штучка – мое почтение! Вот как я тебе скажу... Шельма!.. Я тебе покажу мои права!

Я пошел и думал о том, что у меня даже и таких-то прав нет, точно на воздухе висишь.

«Время мое проходит большею частью в молчании, а со временем надеюсь и еще лучше освоиться с этим положением. И теперь я уже мало-помалу начинаю напоминать собой богомольца, который зазимовал у доброхотного дателя: пьет, ест, зеваает, крестит рот, спит – и больше ни о чем не заботится. Записывая по вечерам кое-что в записную книжку, я уже сам разыскиваю старую матушкину юбку, чтобы завесить окно, а не дожидаясь, пока матушка сама протянется с нею к окну через мою голову и не объяснит мне, что «как бы кто не увидел – подумают, сочиняешь, обидятся, разозлятся и того наплетут, что всю жизнь не разделаешься!..» Все это я теперь знаю и исполняю сам.

Городишко оказывается самый обыкновенный; грязь, каланча, свинья под забором, мещанин, загоняющий ее поленом и ревуший на нее простуженным голосом: все это, вместе с всклокоченной головой мещанина и его рубахой, распоясанной и терзаемой ветром, составляет картину довольно сильную по впечатлению. Книг в городе можно отыскать много; есть книги даже хорошие, но боюсь их читать; чтение это не приведет к добру; читаю, что попадетсЯ: большею частью повести о любви, но и то редко. Большею частью стараюсь думать о вещах, отдаленных от действительности; на стене у меня висит картинка следующего содержания: на бе-

регу громадного озера изображен крошечный человек, сидящий на корточках, в шляпе с широкими полями; в руках у него удочка; вдали колокольня, а внизу подписано: «Предприятие»... Вот я и думаю: где именно тут скрывается предприятие? Предмет, достойный наблюдения и размышления.

По просьбе матушки я отправился недавно в гости к Семену Андреичу; живет «звериным обычаем», но собою доволен, и все у него есть. Я застал у него Ермакова, и если бы не полштоф водки, который уже стоял на столе и был почти осушен, я не знаю, что бы мы трое выдумали для разговора. Но Семен Андреич был под хмельком, а Ермаков совершенно пьян: поэтому мы все о чем-то разговаривали.

– Ведь вот какая скотина! – говорил Семен Андреич: – нарежется и орет!.. Ну что ты этим ораньем хочешь доказать?.. Кроме вреда себе и другим...

– Плевать! – прогремел Ермаков, обнаруживая громадный бас. – Плевать мне на вас на всех!

Ермаков был человек крепчайшего сложения и, повидимому, большая сила из числа тех, которые в трезвом виде не убьют и мухи; но в пьяном виде он был страшен; ему было не более тридцати лет, но лицо уже достаточно распухло и отекло.

– Черти проклятые! – ревел он, сжимая кулаки и косясь на меня.

– Болван ты этакой! Ну, если Иван-то Егоров передаст Фролову, что ты болтал на крестинах у дьякона? – ведь по-

роху от тебя не оставят, дурак!

Ермаков посмотрел на него, вдруг приподнял плечи, сжал кулаки и зубы и прогремел что-то до того ругательное, что даже Семен Андреич не нашелся, что ему возразить; он схватил Ермакова за плечо и, наливая другой рукой водку, кричал:

– Да пей! Пей! Чорт!

Ермаков выпил и облил свою щеку и жилетку.

– Что льешь-то? Эх-ма!.. Пить не умеешь, а орешь.

Из всего оранья Ермакова я мог заключить, что в этом гигантском теле прочно засел неисцелимый недуг протеста, который, благодаря нищенской жизни и под влиянием нищенских интересов окружающего, состарился в нем, прокис, оброс мохом. Миллионы раз «возмущаясь» такими мельчайшими мелочами жизни, как, например, то, что штатный смотритель делает «подлость», не пуская учителей курить в своей комнате, а заставляя их исполнять это на крыльце, и т. д. и т. д., – как не кончить одним ораньем и как не развивать этого оранья дальше и больше?

Оранье и скрежет зубов раздавались ежеминутно, и Семен Андреич поминутно прибегал в таких случаях к водке.

– Да выпей! Выпей! Буйвол!..

– Налей!..

– Так-то лучше! Выпил да закусил – ан оно и... На-ко, закуси!

Ермаков закусывал солью, которую пальцами клал на

язык.

Я познакомился с ним. Он некоторое время молча держал мою руку в своей плотной и горячей руке, смотрел на меня, будто желая что-то сказать, и вдруг принялся ломать мою руку, скрипеть зубами и потащил к пол-штофу.

– Выпей! – едва проговорил он. – Выпей, брат! Я выпил. Жалко мне было Ермакова.

Уходя, я оставил его совершенно пьяным: тяжело поднявшись, он ухватился за лежанку руками, что-то мычал, куда-то хотел идти, чтоб кого-то «избить», но двинуться не мог, а только стоял на одном месте и шатался.

По просьбе Семена Андреича я обещал как-нибудь опять прийти к нему «посидеть». Наверно, со временем я привыкну к этой работе «посидеть» и приду к нему, но до сих пор пока еще не был, ибо сам Семен Андреич посещает нас ежедневно. Часов в шесть вечера непременно слышно из кухни, как он скидает калоши и говорит: «а я, признаться, шел да... где ж это тут гвоздь был? ай вывалился?.. дай, думаю, зайду!» И затем тянутся медленные, неповоротливые разговоры о том, что хорошо бы пробраться в судебные пристава, и проч. Между прочим со слов Семена Андреича я узнал, что уездный предводитель определил происхождение нигилиста «помесью дворовой девки с дьяконом». Сам Семен Андреич понимает их не лучше. «Тут у нас в клубе тоже один появился как-то... пьяная размертвецки шельма! Просит – «подайте!» Я посмотрел, вижу – нигилист! «Нет уж, говорю, вы по-

трудитесь получить вашу субсидию из Польши! Вы оттуда по пятиалтынному в день получаете, ну – и с богом!» Разговоры вообще любопытные... По окончании их я ставлю сапоги под кровать и сплю; засыпать я могу быстро: для этого стоит только как можно ближе пододвинуть лицо к стене и смотреть во все глаза. Нельзя, однако, сказать, чтобы результаты всегда были блестящие: иногда не спишь, несмотря на все усилия. – Тогда зажгу свечу и запишу что-нибудь...

* * *

Вчера вечером разговоры с Семеном Андреичем были прерваны появлением кухарки.

– Барыня-матушка! – тревожно заговорила она, обращаясь к матери: – нет ли у вас какой мази?..

– На что тебе?

– Ох, да тут сейчас старушка одна знакомая прибежала: дочь у нее рождает, мучается! Так плачет, ничего сделать не могут!

В голосе кухарки была сильная тревога, и я высказал желание идти к бабе.

– Вася, и я! – сказала сестра.

– Куда вы в грязь этакую? – попытался урезонить Семен Андреич; но сестра уже одевалась, и скоро мы оба с ней побежали вслед за кухаркой, побежали как на пожар, потому что помочь бабе едва ли мы могли чем-нибудь.

На дворе была тьма и грязь. Нам пришлось спускаться под гору, в слободку, где внизу светились огоньки, шумела вода на плотине и лаяли собаки.

– Так плачет, так плачет, горюшко – бедная! – душевно соболезнуя, слезливо говорила кухарка, спускаясь впереди нас по скользкой тропинке. – Лежит одна, ниоткуда помощи нету, да и где теперь, по этакому времени? И бабки-то не разыщешь! И бабки-то все в разборе!

– А Авдотья Ивановна? – спросила сестра.

– Да и Авдотьи-то Ивановны теперь ты с собаками не сыщешь! Кабы у нас народ-то был умный, а то он дурак! К одному времени все пригоняют... Целый год кушорка-то сидит без хлеба, а как осень – хоть разорваться, так в ту же пору!

– Да почему же осенью?... – спросил я.

– А коли вам угодно знать, так потому, что все по нашим местам ведут счет этому делу с мясоеда, после рождества, либо с масленицы... Потому кругом посты... И считайте теперича девятый месяц... когда придется? И есть, что осенью! Ну и где ж ее теперь, кушорку, сыщешь?..

Из избушки, к которой мы подошли, доносились раздражающие крики; по стеклам маленьких окошек бегала какая-то проворная тень, и слышался равномерный стук.

– Что это? – спросила сестра.

– О-о, черти, о-о, безумные! Коноплю треплют! Да они ее задушат, негодные! – почти проплакала кухарка и ушла в избу.

Мы вошли в сени; маленькая девочка с распущенными жидкими волосами и в распоясанном платьишке пробиралась босиком, с огарком в руках, куда-то в угол. Ее догоняла сторбленная старуха и совершенно растроганным голосом кричала:

– Куда ты, паскуда, тащи-ишь?.. Все огарки пережгла, негодная!

С этими словами она выхватила у нее огарок и шлепнула по затылку, причем на пол упала книга.

– Меня бронют!.. – пропищала девочка, сначала схватившись за затылок, потом за книгу, и поплелась обиженная в избу.

– Да шут и с ученьем-то с твоим! Мать умирает, осветиться нечем, подлая!

Я заглянул в избу. Там слышались стоны и висели облака пыли и кострики. Идти было незачем. Сестра просила меня проводить ее к аптекарю, который постоянно дома и может чем-нибудь помочь. Мы собрались идти, как из избы вышла наша кухарка вместе со старухой, которая прямо повалилась нам в ноги и говорила только «батюшка!» – тогда как кухарка объяснила, в чем дело. У старухи не было тридцати копеек, и она просила их у нас, чтобы побежать к попу и просить его, чтобы отворил в церкви царские ворота, так как это облегчает трудность родов.

Мы дали, что могли, и все вместе вышли вон.

Старуха побежала вперед й, карабкаясь на гору, стонала:

– Батюшка! дай тебе господи! Дай тебе царица небесная!
Кухарка, идя позади нас, вторила ей.

Я и кухарка долго дожидали сестру, пока она была в аптеке; наконец она вышла; аптекарь дал кое-какие советы и лекарство. Передав эти советы кухарке, мы все пошли к попу, которого сестра хотела попросить не задержать старуху, и вдруг наткнулись на нее.

– Акулина! Ты?.. – с изумлением воскликнула кухарка.

– Горюшки мои бедные! – плакалась старуха: – потеряла деньги-то, обронила!

– Все, что ли?

– Да вот одна монета выпала. Ищу-ищу – нету ничего!

– Брось! Брось! Беги уж к попу-то!

– Да как бросить?.. Ах, горюшки мои!

– Беги, старая! Ах, боже мой!..

– Ох-ох-ох!

Кое-как сестре и кухарке удалось уговорить старуху, и она побежала к попу.

– Ну теперь ты беги скорей, – сказала сестра кухарке: – носи лекарство да помни, что я сказала...

– Как не помнить, матушка, бегу, бегу! – торопливо говорила кухарка: – и что уж тут искать пяточка? Ах, старуха, старуха!

– Беги, беги...

– Бегу, матушка! – нагибаясь на ходу к земле, говорила кухарка и вдруг стала опять искать в грязи пяточка.

Кое-как и ее уломали.

Признаюсь, не без неприятного чувства в душе подходил я к поповскому дому. Я хотел подождать в сенях, но сестра втащила меня в комнату.

В передней на коленях стояла старуха, а из глубины довольно темной залы слышался звучный голос священника:

– Отдай дьячку ключи да скажи, чтобы поскорее отпер церковь. Я сейчас буду. Беги! – Кухарка выбежала из залы с ключами.

Мы вошли, познакомились; сестра передала просьбу; священник действительно торопился; застегивая полукафтаны, он торопливо говорил другому бывшему в комнате духовному лицу:

– А ты тем временем – того, Гавриил Петрович, подбавь что-нибудь сюда-то! – и он при этом кивал на лежавшую на столе бумагу.

– Я сию секунду... Ступай, матушка, успокойся, – отнесся он к бабе: – Бог даст – все благополучно... Молись поусердней, да не перевери, что доктор-то сказал. Ступай, беги! Да и ты, Гавриил Петрович, того-то...

Священник попросил нас посидеть и ушел...

Гавриил Петрович был дьякон и оказался добрейшим существом; голос у него был мягкий, юношеский и слегка дрожал от какого-то постоянного нервного волнения.

– Вот такие сцены переносить, – начал он, предварительно несколько раз кашлянув: – право, до того неприятно.

Дьякон волновался и ходил по комнате.

– Иной раз, ей-богу, сам заплачешь, глядя, а не то что... Да ничего не сделаешь! – вдруг, словно выйдя из терпения, проговорил он. – Ведь будемте говорить по совести! я не рад этому – у меня дети! Их учить надо, кормить! Да кроме того...

Тут он исчислил множество разных взносов, требующихся ежегодно, и самым обстоятельным образом доказал, что нельзя не брать с народной темноты и невежества.

– Да вот, изволите видеть эту вот вещицу? – продолжал он, взяв со стола бумагу: – это умерла купчиха-с. Супруг желает, чтобы духовенство произнесло надгробные речи, и обещает по три рубля, а уж ежели очень хорошо, то и пять!.. Вот мы с батюшкой желаем получить по два с полтиной, и теперь, представьте себе, сколько мы должны принять на душу греха, чтобы растрогать эти аршинные души до слез!.. Нам нужно эти откормленные туши заставить рыдать-с!.. Ну те-ко, придумайте!.. И тогда только мы можем рассчитывать на получение из лавки фунта чаю подмоченного! Денег нам, разумеется, не дадут, надуют...

Дьякон в ярких красках нарисовал свое безвыходное положение. Пришедший из церкви батюшка прибавил к этому еще несколько других фактов. Он, впрочем, не волновался, как дьякон, а был положительнее, и, раз решившись смотреть на вещи так, а не иначе, шел не оглядываясь.

– Э-э, – говорил он: – тут церемониться, так с сумой пой-

дешь!

Когда речь коснулась проповеди, он прямо объявил, что нужно повести речь о том, что новопреставившаяся была недавно – новобрачная... а теперь... что мы видим?

– Вот! – сказал он дьякону, ткнув пальцем в бумагу: – поверь, быком заревет и как сноп повалится!

Дьякон грустно улыбнулся, однако взял проповедь с собой и обещал составить ее в указанном батюшкою направлении.

Мы пошли вместе. Дьякон всю дорогу жаловался на свою судьбу и рассказал целую систему невозможностей пойти по другой дороге, выбрать иной путь в жизни. Все это только вносило новые лепты в сокровищницу познаний моих о пользе молчания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.